

КАЛИНОВ МОСТ



РАДОМИР ЗАРЕВ

Радомир Зарев

Калинов мост

<https://litres.ru/74617884>

SelfPub; 2026

Аннотация

Каждую осень Застава с острова Буян забирает из двенадцати краёв по одному одарённому. Это называется Жатва Нави, и до конца её доживают не все.

Семнадцатилетняя Ждана из глухой Глуховки увозит с собой медную пуговицу, оставшуюся от матери, и колыбельную, которую с детства поёт кошкам и телятам. В ней девять строк, непонятные слова и паузы там, где в песнях их не бывает. Вскоре море начинает выносить на берег Буяна людей из её деревни, и на каждом теле написана строка этой колыбельной.

Кто-то собирает её песню. В Чёрной башне живёт молодой Кощей, который три года не спал и засыпает только под её голос. Лодочница, что возит Жатву, напевает тот же мотив без слов. А наставница, которой Ждана доверяет, уезжает с острова именно в туманные ночи.

Колыбельная оказывается чьей-то смертью. Ждане придётся решить, кому её спеть.

Содержание

Пролог. Девять строк	4
Глава 1. Серп звенит	8
Глава 2. Мглистый мост	22
Глава 3. Буян	36
Глава 4. Провожатые	50
Глава 5. Пепел	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Радомир Зарев

Калинов мост

Пролог. Девять строк

В ту ночь река под Калиновым мостом стояла ровно и без звука, как вода в мёртвых колодцах. Милава знала, что это дурной знак. Дурных знаков она знала много и давно перестала их считать.

Дом был маленький, из тех, что ставят на краю деревни, где кончается дорога и начинается лес, который лучше не называть вслух. В печи догорали три полена. На лавке, завёрнутая в серый платок, спала девочка, которой не исполнилось и года. Спала она, приоткрыв рот и сжав кулак у самого подбородка, как спят только дети и те, кому нечего скрывать.

Милава села рядом и долго на неё смотрела.

Брови у девочки были тёмные, отцовские, а брови люди запоминают. На левой ладони белел крохотный шрам от осколка горшка, и это было ещё хуже. Но больше всего Милаву пугало, что дочь уже умела вслушиваться: когда мать пела, она замирала и будто пробовала каждое слово на вкус.

«Всё равно, — сказала себе Милава. — Другой памяти у меня для тебя нет».

Она положила ладонь дочери на лоб, тёплый и сухой. За-

крыла глаза, подождала, пока в доме станет совсем тихо и даже огонь в печи перестанет потрескивать, и запела. Пела тихо, почти не открывая рта, на странном низком напеве, какого не пела ни одна мать в этих краях и какому её не учил никто из живых.

Баю-баю, тёмна вода,
Не проснётся в ней беда.

Девочка вздохнула во сне, и Милава замолчала.

Дальше она не пела никогда: ни при людях, ни одна, ни шёпотом. Остальные семь строк она складывала по одной, много ночей подряд, в доме без окон, под присмотром чело- века, который не знал, что она сочиняет ему смерть. Каждая строка давала один слог, и в каждом слоге сидел кусок этой смерти, дожидаясь своего часа. Если сложить девять строк правильно, выйдет имя. Если назвать это имя вслух в нуж- ном месте, тот, кто носит его сейчас, перестанет его носить.

Кроме неё, этой песни не знал никто. Теперь её начало знала и дочь.

Милава наклонилась и прижалась лбом ко лбу девочки. В старину так прощались навсегда, и Милава всегда считала это красивой глупостью. Теперь ей хотелось верить, что глупость всё-таки что-то значит.

— Прости, — шепнула она. — Я бы оставила тебе что-нибудь получше.

Девочка сонно пошевелилась и ухватила её за палец, крепко, по-хозяйски, как хватают своё. Милава осторожно разжала маленькую ладонь. Потом нащупала на своём старом синем кафтане нижнюю пуговицу, ту, что у самого пояса, и оторвала её вместе с ниткой. Пуговица была тонкая, медная, без рисунка. Милава вложила её дочери в кулак. Чужой человек ничего бы в ней не увидел. Но тот, кто знает, через год или через десять лет посмотрит на неё и вспомнит, чей это знак.

Потом она поднялась, повязала платок и вышла в ночь. Дверь за собой запирасть не стала. Через дорогу, у Добравы, светилось окно: Добрава ставила опару и вставала до света. Утром она услышит.

На крыльце она остановилась. Слева в темноте шумел лес, справа лежала река, а над рекой стоял мост, которого с этой стороны не должно было быть видно. Его было видно: высокий, чёрный, с перилами, похожими на рёбра.

Милава подняла лицо к небу. Звёзд не было.

Она уже шагнула с крыльца, когда с того берега, из самой глубины воды, через все запреты Яви и Нави до неё долетел чужой голос. Тихий, ровный, совсем не страшный. Он подхватил напев, который она только что пела над колыбелью, и спокойно, без вопроса, повёл дальше:

Спит под мостом, под седым...

Милава замерла.

Эту строку она не пела ни разу.

Глава 1. Серп звенит

Кузнецов мерин встал посреди брода и не шёл дальше ни на шаг. Остап тянул его за повод, ругался, шлёпал ладонью по мокрой шее, а мерин только косил белым глазом на воду и дрожал всей шкурой, как дрожат лошади перед грозой. Грозы не было. Небо над Глуховкой висело чистое, сентябрьское, с одним облаком над лесом.

Ждана полоскала у мостков бельё и видела всё с самого начала. Она отжала последнюю рубаху, бросила её в корзину и пошла в воду, подоткнув подол. Вода в Смородине и летом была холодная, а к концу сентября так сводила ноги, что через десять шагов переставали слушаться пальцы.

— Не тяни его, — сказала она Остапу. — Он тебя боится больше, чем реки.

— Он меня пятый год знает.

— Вот и боится.

Остап засопел, но повод отпустил. Ждана подошла к мерину сбоку, медленно, чтобы он видел её всю, и положила руку ему на храп. Под ладонью было горячо и мокро. Она не стала гладить. Встала рядом, плечом к его плечу, и начала напевать без слов, низко, почти не размыкая губ, тот напев, который сам приходил к ней, когда кто-то рядом боялся. Мерин послушал. Дрожь пошла с него волнами, от холки к крупу, и стихла. Он фыркнул ей в волосы, опустил голову

и сам пошёл к берегу, а Ждана шла рядом и пела, пока его копыта не стукнули о камни.

— Ведьма, — сказал Остап. Сказал без злости, даже с уважением.

— Сам ты ведьма.

На берегу она растёрла онемевшие ноги ладонями, докрасна. Остап стоял над ней, большой, красный от стыда за мерина, и не знал, куда деть руки. Весной он сватался, и Ждана ему отказала, и с тех пор он всё время не знал, куда деть руки, когда она была рядом.

— Чего он испугался? — спросил он.

Ждана посмотрела на реку. Смородина у Глуховки была неширокая, метров сорок от берега до берега, тёмная, с быстрым течением посередине. Сейчас течения не было видно. Вода стояла ровно, гладко, как в бочке, и не плескала о мостки.

— Не знаю, — сказала она. — Может, щука.

Она знала, что это не щука. Она росла на этой реке и помнила её всякой. И такой она её уже видела, давно, в детстве: стоячей, тихой, без единого звука.

В детстве Ждана приходила сюда одна. Добрава не пускала её к воде, но Добраве с утра до ночи было некогда, у неё на руках была общая печь на всю Глуховку, и девочка уходила. Садилась на корни старой ольхи, которые уходили прямо в реку, и опускала в воду руки. Ей было тогда года четыре, может, пять. И из воды, из самой глубины, ей пел голос.

Она так и не поняла, чей. Голос был мужской, негромкий и усталый, как у человека, который долго шёл. Он пел ей колыбельную, ту самую, которую она потом пела всем: Улите и Злате, когда они играли в куклы на сеновале, Остапу, который тогда ещё был тощим мальчишкой с цыпками на руках, кошкам, курам, телятам. Добрава слушала и говорила: «Мать тебе пела, вот и помнишь». Ждана не спорила. Ей нравилось думать, что мать.

Голос пел, а потом учил её, строку за строкой, терпеливо, по многу раз. Последнюю строку он спел ей только однажды и сказал: «Эту никому». Она так и не спела её никому, даже кошке. Это было их общее, её и реки.

Голос приходил несколько лет, всё реже. Потом, три осени назад, замолчал совсем. Ждана тогда месяц бегала к ольхе каждый вечер, сидела до темноты, опускала руки в воду, пока они не синели. Вода молчала. Она решила, что выросла и больше не слышит того, что слышат дети. Так бывает, говорила Добрава, когда та сдуру ей проболталась. С водяными так всегда.

— Жнец сегодня будет, — сказал Остап. Сказал так, будто это продолжало разговор про щуку.

— Знаю.

— В Ольшанке он был вчера. Никого не взял.

— Значит, у нас возьмёт, — сказала Ждана и подняла корзину.

Она шутила. Остап не засмеялся.

Жатва Нави приходила в Заречье каждую осень, за неделю до равноденствия. Так было при отцах и при дедах, и про начало её в Глуховке не помнил никто, кроме, может быть, самых старых старух, а те путали Жатву с войной, с голодом и с собственной молодостью. Знали главное. Из каждого края, а краёв было двенадцать, Застава с острова Буяна берёт одного одарённого, которому в этот год исполнилось семнадцать. Берёт насовсем. На острове одарённых учат держать границу между Явью и Навью, чтобы мёртвое не лезло к живому. Учат не всех. До острова доходят не все.

За сорок лет из Глуховки Жатва брала пятерых. Вернулись двое. Один, дядька Мирон, жил теперь бобылём на хуторе, не пил, не ругался и никогда не говорил про Буян. Про второго говорили, что он служит где-то на южной границе и пишет матери раз в год, к Масленице. Трое не вернулись. Про них не говорили совсем.

В полдень вся Глуховка собралась у колодца. Семнадцатилетних в этот год было пятеро: Ждана, Улита, Злата и двое парней с дальнего конца, братья Лукины, близнецы, рыжие и одинаково испуганные. Их поставили в ряд у колодезного сруба. Позади толпились матери, бабки, отцы, детвора, которую никто не догадался увести. Собаки и те затихли.

Улита стояла рядом со Жданой и всё время трогала свою

косу.

— Я не одарённая, — шептала она. — Я ничего не умею. Ленты плету, и всё. Что они, ленты возьмут?

— Не возьмут, — сказала Злата с другой стороны. Злата была швея, тонкая, бледная, с иголкой, всегда воткнутой в ворот. — Помолчи, Улька.

— Я если боюсь, мне надо говорить.

— Говори про себя.

Жнец приехал верхом. Он был один, без свиты, огромный, в выцветшем красном кафтане с прожжёнными полами. Лицо у него было обычное, мужицкое, с перебитым носом, а руки страшные: до локтей в старых ожогах, гладких и блестящих, как наплывы на свече. Он слез с коня, кивнул старосте, не поздоровался ни с кем и снял с пояса серп.

Серп был небольшой, тёмный, с железными бубенцами, нанизанными на лезвие. Бубенцов было двенадцать, по числу краёв. Жнец держал его за рукоять лезвием вверх, и бубенцы молчали, хотя должны были звенеть от любого движения.

— Не бойтесь, — сказал жнец. Голос у него был хриплый, сорванный. — Больно не будет. Пройду мимо каждого. У кого запоёт, тот со мной. У кого не запоёт, тот домой, и забудьте. Меня Ратибором звать.

Он пошёл вдоль ряда. Перед старшим Лукиным серп молчал. Перед младшим молчал. Перед Златой молчал, и Злата закрыла глаза. Перед Улитой серп чуть качнулся в его руке,

и Улита пискнула, но бубенцы не издали ни звука. Ратибор сделал ещё шаг.

Бубенцы зазвенели все разом, до того, как он остановился. Звон был высокий и чистый, как от льда, который ломают весной, и от него у Жданы заложило уши. Сзади кто-то охнул. Ратибор стоял перед ней, держал серп и смотрел. Бубенцы звенели и звенели, хотя рука его не двигалась.

Он смотрел не на серп. Он смотрел ей в лицо, на брови, и что-то в его лице переменялось, совсем немного, как меняется вода, когда под ней проходит большая рыба.

— Как звать? — спросил он.

— Ждана.

— Чья?

— Ничья, — сказала она. — Добравина.

Ратибор опустил серп, и бубенцы наконец замолчали.

— Завтра на рассвете, — сказал он. — С собой тёплое, нож, если есть, и что-нибудь своё, чтобы помнить дом. Больше ничего не надо.

Позади закричала Добрава. Она закричала, коротко и страшно, как кричат, когда обжигаются. Ждана обернулась. Добрава стояла, прижав кулак ко рту, и смотрела на неё так, будто Ждана уже умерла.

* * *

Вечер ушёл на сборы, и собирать оказалось нечего. Тёп-

лый платок, второй, вязанные чулки, новые сапоги, которые Остапов отец справил ей к прошлой Купале, и рубаха с вышитым воротом. Злата прибежала сразу после колодца, забрала рубаху и унесла к себе. Сказала, что надо подшить.

Добрава весь вечер не садилась. Она ходила по избе, переставляла горшки с места на место, трогала зачем-то печную заслонку, хотя печь давно прогорела. Добраве было за шестьдесят. Она была вдова, бездетная, маленькая и сухая, как гриб, и всю жизнь держала общую хлебную печь на краю Глуховки: в неё вся деревня носила хлеба по субботам. Руки у неё до самых морщин были серые от золы, и отмыть их было нельзя. Ждана любила её руки.

— Сядь ты, — сказала Ждана. — Голова от тебя кружится.

Добрава села. Посидела. Встала, полезла в сундук и достала со дна тряпицу, свёрнутую в комок.

— На, — сказала она. — Тебе.

В тряпице лежала пуговица на старом, засаленном шнурке. Медная, тонкая, без рисунка, тусклая, с зеленцой по краю. Ждана повертела её в пальцах. Пуговица как пуговица, на базаре в Перевозе такие продают горстями.

— Это чьё?

— Твоё. — Добрава поджала губы. — Матери твоей. Ты с ней в кулаке лежала, когда я тебя нашла.

Ждана подняла глаза.

Про мать в Глуховке говорили мало, и говорили разное.

Что пришлая. Что прожила на краю деревни, в пустом доме Ерофеевых, меньше года. Что была красивая, неразговорчивая и ни с кем не дружила, только с рекой. Что однажды зимой ушла ночью и не вернулась, и все решили, что утопилась, потому что следы вели к воде. Добрава жила через дорогу. Утром она услышала, как в пустом доме плачет ребёнок, и пошла. Остальное Ждана знала: Добрава взяла её к себе, и всё.

— Ты мне не говорила.

— Не говорила, — согласилась Добрава. — Думала, не надо тебе. Думала, проживёшь тут, выйдешь за Остапа, не за Остапа так за другого, и зачем тебе. А теперь, может, и надо.

— Почему теперь?

Добрава отвела глаза к печи.

— Она мне перед тем, как уйти, сказала. Я днём к ней заходила, молока принесла. Она говорит: «Если что, Добрава, пуговицу ей отдай». Я говорю: «Если что?» А она: «Кто знает, тот узнает». Вот. И больше ничего. Я тогда не поняла, а ночью она ушла.

— Кто знает что?

— Почём я знаю. — Добрава вдруг рассердилась, как сердилась всегда, когда боялась. — Ты на брови свои посмотри. Брови у тебя не нашенские. Я, как тебя взяла, так и думала: найдутся, кто про эти брови знает. Не нашлись. А теперь тебя на Буян везут. Может, там найдутся.

Ждана надела шнурок на шею. Пуговица легла под рубаху,

холодная, и быстро согрелась.

— Ты меня похоронила уже, — сказала она. — У колодца.

— Дура, — сказала Добрава и обняла её, крепко, неудобно, пахнувшая золой и хлебом. — Не похоронила. Вот ещё. Я тебя в печи, если что, спеку и съем, никакой Нави не отдам.

Ждана засмеялась ей в плечо, и Добрава тоже засмеялась, мокро и некрасиво, и так они сидели, пока в окно не постучала Улита.

* * *

Девки повели её к реке. Так было принято: кого берёт Жатва, того провожают у воды, жгут костёр и до полуночи не спят. Говорили, что Навь приходит по воде и смотрит, кого ей привезут, и пусть смотрит, пусть видит, что этого человека здесь любят и что за ним вернуться. Ждана в это не верила, но пошла.

Костёр сложили на песке у ольхи. Пришла Улита, пришла Злата с узелком, пришли обе Лукиных сестры и соседская Фёкла с братишкой, которого не на кого было оставить. Остап пришёл последним, когда уже разгорелось, и сел поодаль, у самой воды.

Улита распустила Ждане косу.

— Не дёргайся, — сказала она. — Я тебе ленту вплету. На счастье.

Лента была красная, шёлковая, тканная её же руками, с

белыми ромбами по краю. Улита плела ленты на всю Глуховку и на ярмарку в Перевоз, и такой красной Ждана у неё ещё не видела.

— Я её к своей свадьбе ткала, — сказала Улита. — Ничего, ещё натку. Не дёргайся, говорю.

Она плела медленно, и пальцы у неё дрожали, хотя голос был обычный, болтливый: про Лукиных, про то, что старший Лукин, кажется, на неё смотрит, а может, и не на неё, а на Фёклу, про то, какие на Буяне, наверное, парни, все одарённые, и как Ждана там кого-нибудь найдёт и напишет. Ждана слушала и не слушала. Река перед ними лежала чёрная, без отблесков, хотя костёр горел в трёх шагах от воды.

— Готово, — сказала Улита и затянула узел. — Теперь не потеряй.

Злата развязала свой узелок. В нём была Жданина рубаха.

— Смотри, — сказала она.

По вороту, там, где раньше шла простая красная ёлочка, теперь шёл новый шов. Чёрная нить, мелкий частый стежок, узор, похожий на воду и на птичьи следы одновременно.

— Бабка моя так шила, — сказала Злата. — Это оберег. Чтоб тебя Навь не узнала. Будешь в ней ходить, она на тебя смотреть будет и думать, что ты не ты.

— А кто?

— Никто. Камень. Пенёк. — Злата впервые за вечер улыбнулась. — Ты носи только.

Остап так и сидел у воды. Наконец встал, подошёл, сунул

Ждане в руку что-то тяжёлое, завёрнутое в кожу, и отошёл обратно.

В коже лежал нож. Маленький, длиной в ладонь, сантиметров двенадцать вместе с рукоятью. Лезвие было тёмное, с узором, как изморозь на льду, а рукоять обмотана тонким ремешком.

— Сам ковал? — спросила Ждана.

— Сам. — Остап не обернулся. — Под твою песню ковал. Я, когда кую, всегда её пою. С детства привязалась. Отец ругается, говорит, бабья песня, а под неё молот ровно ходит.

Ждана не знала, что он её поёт. Ей стало стыдно за весну, за то, как она ему отказала: быстро, при всех, будто отмахнулась.

— Спасибо, — сказала она.

— Не за что. Спой лучше.

— Спой, — подхватила Улита. — Ту, свою. Странную.

Злата ничего не сказала, но придвинулась ближе.

Ждана не хотела петь. Ей казалось, что если она сейчас запоёт, то расплечется, а плакать при всех она не умела с детства. Но они смотрели. Добрава говорила, что последнюю просьбу не отказывают. Добрава много чего говорила.

Она запела. Тихо, низко, тем самым напевом, который шёл к ней из реки:

Баю-баю, тёмна вода,
Не проснётся в ней беда.

Улита подхватила сразу, Злата на второй строке, а дальше они пели все, путая слова, как путали с детства: Улита тянула свои, Злата свои, Остап у воды гудел без слов, басом, а Ждана вела их, как вела когда-то на сеновале, и поправляла не словами, а голосом. Песня была странная, это все знали. В ней были слова, которых никто не понимал, и паузы в таких местах, где их не бывает ни в одной песне. Добрава говорила, это потому, что мать пришлая и пела по-своему. Детям нравилось. Детям нравится всё непонятное.

На восьмой строке Ждана остановилась, как останавливалась всегда. Улита допела без неё, по-своему, и тоже замолчала.

— Опять обрываешь, — сказала она. — Всю жизнь обрываешь, и всё на том же месте.

— Там дальше нет.

— Есть. Ты лицо делаешь, как будто есть.

— Нет там ничего, Улька.

Улита хотела спорить, но Злата толкнула её локтем, и та замолчала. Костёр трещал. Фёклин братишка заснул на песке, подложив кулак под щеку. Остап смотрел на реку.

— Слышите? — сказал он.

Все затихли. Ждана слушала и ничего не слышала. Ни плеска, ни ветра, ни лягушек, которые в сентябре уже молчали. Река стояла.

— Ничего не слышу, — сказала Улита.

— Вот и я, — сказал Остап. — Она так не бывает. Она всегда шумит.

* * *

На рассвете Ратибор ждал её у колодца с телегой. В телеге лежало сено, мешок овса и два свёрнутых тулупа. Конь у него был тот же, гнедой, а в оглобли он запряг второго, низкорослую мохнатую кобылку, которая при виде Жданы фыркнула и потянулась к ней мордой.

— Садись, — сказал Ратибор. — До Перевоза три дня. Сто сорок километров, если по тракту, а мы по тракту не поедem.

— Почему?

— Потому что тракт вдоль реки идёт, а Навь по реке ходит. Ей тебя ещё рано видеть. Лесом поедem.

Ждана не поняла, но спрашивать не стала. Она обернулась.

Провожать вышли все. Добрава стояла впереди, в праздничном платке, с сухими глазами и белым лицом. Злата держала её под руку. Улита плакала открыто, громко, утирая лицо концом своей собственной ленты, синей, будничной. Остап стоял позади всех, выше всех, и ничего не делал руками.

Ждана подняла руку. Добрава кивнула ей, как кивала, когда отпускала в лес за грибами: иди, мол, к обеду вернёшься.

Ждана хотела крикнуть ей что-нибудь, но не придумала что. Телега тронулась.

Дорога шла вдоль реки, по высокому берегу, потом сворачивала в лес. Ждана смотрела назад, на крыши, на дым из Добравинной печи, на ольху у воды. На повороте, там, где дорога уходила за деревья, она увидела последнее: край деревни, пустой дом Ерофеевых с провалившейся крышей, тот самый, где когда-то жила её мать, и реку за ним.

Над рекой стоял мост.

Высокий, чёрный, с перилами, похожими на рёбра. Он шёл от их берега в туман над водой, и другого его конца не было видно. Ждана знала эту реку всю жизнь. Никакого моста через Смородину у Глуховки не было никогда, ни каменного, ни деревянного, а брод был ниже, у мостков.

Она моргнула. Моста не стало. Над рекой висел туман, обычный, утренний, и сквозь него просвечивало солнце.

— Не смотри туда, — сказал Ратибор, не оборачиваясь.

— Вы видели?

— Видел. — Он тряхнул вожжами. — Кто его видит, тот к нему и пойдёт. Рано или поздно. Так говорят. Ты лучше на дорогу смотри.

Пуговица под рубахой была горячая, как камень из печи.

Глава 2. Мглистый мост

Ратибор говорил мало. За три дня дороги Ждана узнала про него вот что: что он с Буяна, что учит там огню и бою, что жнецом ездит двенадцатый год и что ненавидит это дело. Последнее он не сказал, но это было видно по тому, как он каждый вечер, распрягая лошадей, подолгу стоял, уткнувшись лбом в шею гнедого.

Ехали лесными дорогами, далеко от реки. На ночь вставали в деревнях, где Ратибора знали и пускали без слов, а утром выносили в телегу хлеб и не брали денег. Ждану разглядывали из-за плетней, как разглядывают покойника на лавке, с жалостью и любопытством. Она привыкла к этому к концу первого дня.

На второй вечер, у костра, она спросила про мост.

— Я сказал уже, — ответил Ратибор. — Не смотри.

— Я не смотрю. Я спрашиваю.

Он помолчал, ковыряя прутом угли.

— Калинов мост, — сказал он наконец. — Через Смородину, с Яви в Навь. Он всегда там стоит, только с нашей стороны его не видно. Бывает, кто-то видит. Редко.

— Почему у Глуховки?

— А где ему ещё стоять? Он везде стоит, где Смородина течёт. Только у вас ближе. — Ратибор бросил прут в огонь. — У вас в Глуховке раньше хранительницы жили. Слыхала?

Ждана не слыхала.

— Были такие. Мост сторожили с нашего берега. Бабы все, из одного рода. Последней лет двадцать уже нет. — Он посмотрел на неё через огонь, на лоб, на брови, и отвёл глаза. — Ты брови-то на Перевозе платком прикрой. Приметные они у тебя.

— Чем приметные?

— Тёмные больно. Спи давай.

Больше он ничего не сказал ни в тот вечер, ни потом.

* * *

Перевоз стоял в устье Смородины, там, где река, широкая и бурая, растекалась по камышам и уходила в море. Ждана никогда не видела моря. Она ждала чего-то синего, как на картинках в Добравинном сундуке, а увидела серое, плоское, бескрайнее, пахнущее рыбой, солью и гнилыми водорослями. Над ним низко висели облака. Где-то там, за облаками, в двенадцати километрах от берега, был Буян. Его не было видно.

Городок был большой, грязный и шумный. Пахло дёгтем, мокрыми сетями, дымом. По улицам ходили рыбаки в кожаных фартуках, бабы с корзинами, пьяные плотогоны с верховьев. Ратибор провёз её через весь Перевоз к причалам, к высокому бревенчатому двору с воротами, на которых была вырезана ладья. Жатвенный двор.

В воротах её уже ждали.

— Заречье, — сказала девушка, стоявшая у столба. — Последняя. Двенадцать.

Девушка была смуглая, скуластая, в мужских штанах и короткой кожаной куртке. Чёрные волосы у неё были обрезаны неровно, будто ножом, до плеч. Глаза узкие, тёмные, внимательные.

— Ты кто? — спросила Ждана.

— Ярина. Дикое поле. — Девушка оттолкнулась от столба. — Я считаю. Мне надо считать, а то я с ума сойду. От ворот до причала двести сорок шагов. Во дворе двенадцать лавок, шесть кадушек и одна собака. Нас теперь двенадцать. Ты двенадцатая.

— Ждана.

— Хорошо. — Ярина кивнула, как ставят зарубку. — Пошли. Там кормят.

Во дворе, под навесом, за длинным столом сидели остальные. Ждана смотрела на них и пыталась запомнить, как заминают лица соседей на ярмарке: на всякий случай.

Ближе всех сидел парень огромного роста, светлородый, в вязаной рубаше с оленями, северянин. Он ел кашу медленно, деревянной ложкой, и улыбался всем, кто проходил мимо. Его звали Прохор. Рядом с ним, почти прижавшись к его боку, сидела маленькая бледная девочка с прозрачными глазами, Нежка, из болотного края. Она не ела и не говорила, только держала ложку обеими руками. Прохор

подкладывал ей в миску хлеб, будто приманивал птицу.

Дальше сидел Ивашка, вертлявый, остроносый, с подбитой губой, который уже успел подраться с кем-то из местных. За ним Лада, южанка, очень красивая, в серьгах до плеч, которая смотрела на всех так, будто они ей что-то должны. Ещё пятеро, парни и девки, имён которых Ждана в тот вечер не запомнила.

И последний, напротив, светловолосый, веснушчатый, с тетрадью в кожаном переплёте, раскрытой рядом с миской. Он писал в ней, не глядя, и ел, не глядя, и одновременно разговаривал сразу с двумя соседями. Увидев Ждану, он вскочил.

— Заречье! — обрадовался он. — А я из Поречья, это ниже по вашей реке, мы соседи, считай. Радим. Ты по воде к нам не спускалась никогда? У нас ярмарка на Купалу. Ты песни знаешь? Я песни собираю. Вот. — Он постучал по тетради. — Двести сорок одна. От бабки научился, бабка у меня сказительница. Ты садись. Каша холодная, но есть можно.

— Он всегда такой, — сказала Ярина, садясь рядом. — Я посчитала. За вечер он сказал больше слов, чем все остальные вместе.

— Я если боюсь, мне надо говорить, — сказал Радим, и Ждана вздрогнула. Так говорила Улита.

Она села и взяла ложку. Каша была пшённая, с салом, и правда холодная. Ждана съела всю.

Горислава приехала на закате.

Её ждали весь день, и весь день жатвенный двор жил в ожидании. Ратибор сказал только, что наставница с Буяна сама поведёт их на первое испытание и сама же примет на том берегу. Больше никто ничего не знал. Слухов было много, и все дурные.

Она вошла пешком, через причальные ворота. Высокая, выше Ратибора, худая, в длинном чёрном кафтане до земли, застёгнутом на костяные пуговицы. Волосы седые, гладко убранные под чёрный платок. Лицо узкое и спокойное, с тонкими губами. Глаза серые, светлые, как зимняя вода. Ей можно было дать и сорок лет, и шестьдесят. Когда она проходила мимо, Ждана почуяла запах: можжевельник и дым, как в бане, когда на камни плеснут отваром.

Двенадцать жатвенных встали перед ней в ряд, сами, никто им не велел.

— Меня зовут Горислава, — сказала она. Голос у неё был низкий и ровный. — Я наставница Мороновых на Буянской Заставе. Мороновы провожают мёртвых. Это значит, что из нас всех я чаще всех бываю в Нави и лучше всех её знаю. Поэтому слушайте внимательно. Повторять я не буду.

Она прошла вдоль ряда, глядя каждому в лицо. Перед Жданой не задержалась. Ждана поправила платок, которым

с утра прикрыла лоб.

— С этой ночи и до полуночи Карачуна вас хранит Ряд, — сказала Горислава. — Ряд это договор. Ему триста лет, и заключали его не вы, но связаны им теперь вы. По Ряду ни человек, ни зверь Яви вас не тронет. Ни нож, ни кулак, ни волк в лесу. Кто тронет, того Навь заберёт себе, а Навь берёт долго и больно. Это вам защита. Но Навь вас трогать может. Это и есть Жатва.

Кто-то из девок всхлипнул. Горислава не обернулась.

— Три испытания, — продолжала она. — Мост, вода и охота. Мост сегодня ночью. Вода на Буяне, в октябре. Охота в ночь на Осенних Дедов. Кто пройдёт все три, тот останется на Заставе учиться. Кто не пройдёт...

— Тот что? — спросил Радим.

Горислава посмотрела на него.

— Тот останется в Нави, — сказала она. — Ещё вопросы? Вопросов не было.

* * *

Мглистый мост начинался прямо у жатвенного двора, у последнего причала. Это был обычный дощатый настил на сваях, шириной в две доски, без перил, и шёл он через устье на ту сторону, к низкой песчаной косе, где на рассвете должна была ждать лодка. Днём Ждана видела его весь: метров триста, не больше, полчаса неспешным шагом. Мальчишки

в Перевозе бегали по нему ловить крабов.

Ночью над устьем встал туман. Он пришёл с моря и с реки одновременно, сначала лёг на воду, потом поднялся до свай, до настила, до колен, до пояса. Он был белый, плотный и холодный, и в нём не было видно ничего дальше вытянутой руки. Фонарь на первой свае светил в нём жёлтым пятном, как сквозь молоко.

— Правила, — сказала Горислава. Она стояла у начала моста, с фонарём в руке. — Не останавливаться. Не поворачивать назад. Ни на чей голос не откликаться. Ни на чей, даже если вас позовёт мать. Ваша мать дома. Здесь её нет. Идёте по одному, через сто счётов. Я буду на том берегу. Первый.

Первым пошёл Прохор. Он стукнул себя кулаком в грудь, по-северному, на удачу, улыбнулся Нежке и шагнул в туман. Через три шага его не стало видно. Его шаги по доскам были слышны ещё долго, тяжёлые, мерные, потом стихли и они.

Горислава считала вслух. На сотом счёте пошёл Ивашка. За ним Лада. Потом Ярина. Ярина, прежде чем шагнуть, обернулась к Ждане и сказала:

— Триста метров. Это шестьсот моих шагов, если не торопиться. Я посчитаю. Ты тоже считай.

И ушла.

Ждана шла седьмой. За ней оставались Нежка, Радим и ещё трое.

Туман оказался тёплым.

Снаружи он казался ледяным, а внутри был влажный и

тёплый, как пар над корытом в банный день, и пах сухой травой, хлебом и чуть-чуть золой. Доски под ногами скользили. Справа и слева, внизу, плескала вода. Ждана считала шаги. Двадцать. Сорок. Шестьдесят.

На сотом её позвали.

— Ждана!

Добравин голос. Слева, снизу, из воды, совсем рядом.

— Ждана, домой иди. Хлеб сгорит. Ты где? Я печь затопила, а тебя нет. Иди, дурёха, замёрзнешь.

Нога остановилась сама, раньше, чем Ждана успела подумать. Это была Добрава до последней хрипотцы, до привычки глотать конец слова, и только Добрава так говорила «дурёха», нараспев, ласково, как гладят по голове.

«Ваша мать дома, — сказала Горислава. — Здесь её нет».

Шаг. Ещё шаг. Голос шёл рядом и не отставал.

— Ждана, ты чего? Обиделась? Ну прости старую. Иди сюда. Я тебе пирог спекла, с капустой, как ты любишь...

Ждана стиснула зубы и запела сквозь них, без слов, тот напев, которым успокаивала мерина в броду, коров в грозу и саму себя, когда в детстве не могла заснуть, и напев пошёл низко и ровно, как вода подо льдом, а Добравин голос споткнулся, заторопился, стал громче, заплакал, и Ждана пела и считала шаги одновременно и не понимала, как у неё выходит то и другое сразу. Сто пятьдесят. Двести.

Голос отстал. Его будто относило течением, всё дальше, всё тише. Пропал.

На двести пятидесятом шаге впереди стояла Нежка.

Этого не могло быть: Нежка шла после неё. Но она стояла на досках, маленькая, в сером платье, и смотрела в туман налево, вниз. Лицо у неё было счастливое. Розовое, мокрое, улыбающееся. Такого лица Ждана не видела у неё за весь вечер.

— Мама, — сказала Нежка в туман. — Мамочка. Я здесь.

— Нежка!

Ждана схватила её за руку. Ледяная. Нежка обернулась без узнавания, как оборачиваются на ветку, которая зацепила рукав.

— Там мама, — объяснила она. — Пусти.

— Нет там никого. Пойдём, Нежка, пойдём со мной, там Прохор, он ждёт...

Рывок. В маленькой руке оказалась мужицкая сила. Нежка шагнула с досок влево, легко, как ступают с крыльца.

Вода не плеснула.

Ждана стояла на краю и смотрела в белое. Внизу была тишина, та самая, глуховская, над стоячей рекой.

Как она пошла дальше, она не помнила. Помнила, что считала, сбивалась, начинала снова, и что напев не прекращался, хотя горло драло, будто она глотнула кипятка.

На четырёхсотом шаге туман поредел. Впереди кто-то сидел.

Старуха. Прямо на досках, поперёк моста, поджав ноги, с прялкой. Прялка длинная, чёрная, кудель серая, а нить из-

под пальцев светилась бледно, как гнилушка. Сама старуха была из тумана. Настоящими были только руки, тёмные, жилистые, с длинными ногтями. Вместо лица белая муть.

Мост был в две доски шириной. Обойти нельзя.

— Пусти, бабушка, — сипло сказала Ждана. — Мне на ту сторону.

Прялка остановилась. Сухие пальцы, горячие, как у Добравы, когда та вынимала хлебы, взяли Ждану за левое запястье и повернули ладонью вверх.

У основания большого пальца белел шрам. Маленький, кривой, с ноготь. Откуда он, Ждана не помнила. Добрава говорила, что так и было, когда она её нашла.

Старуха провела по шраму ногтем.

— Ключ, — сказала она. Голос шёл отовсюду: из досок, из воды, из самой ладони. — Пришла. Пришла, ключик. Игла слышит.

— Какая игла? Пусти.

Старуха потянула носом, как собака, и наклонилась к вороту, к Златиному чёрному шву.

— Шито хорошо, — одобрила она. — По шитью не узнала бы. Камень, пень. А по руке узнала. Рука кровь помнит.

Пальцы разжались. Старуха подвинулась, освобождая край доски, и Ждана прошла мимо боком, задев плечом белую муть, пахнущую сухой травой. За спиной снова зажужжала прялка.

Последние сто шагов она прошла почти бегом. Доски кончились, под ногами захрустел песок. Туман висел позади стеной, а здесь, на косе, было темно, прохладно, пахло морем. Горел костёр. Вокруг него сидели Прохор, Ивашка, Лада и Ярина. Ярина вскочила.

— Шестьсот двенадцать, — сказала она. — У меня вышло шестьсот двенадцать. А у тебя?

Ждана не ответила. Горислава стояла у кромки тумана с фонарём, и свет падал Ждане прямо в лицо.

— Подойди, — сказала она.

Ждана подошла. Горислава подняла фонарь, свет упал ей на лицо. Платок у Жданы съехал на затылок, она не помнила когда. Пуговица выбилась из-под ворота и висела поверх рубахи на засаленном шнурке. Горислава посмотрела на её брови. На пуговицу. Лицо у неё не изменилось совсем.

— Руку дай.

— Какую?

— Ту, которую она смотрела.

Ждана протянула левую. Горислава взяла её за пальцы, как берут чужую вещь, и поднесла фонарь. Посмотрела на шрам долго, дольше, чем старуха.

— Откуда?

— Не знаю. Маленькая была.

— А пуговица?

— Матери.

— Где мать?

— Утонула, — сказала Ждана. — Давно.

Горислава отпустила её руку.

— Что она тебе сказала? Пряха.

Ждана хотела соврать. И передумала: Горислава стояла на берегу с фонарём и, может быть, всё слышала, а врать человеку, который знает Навь лучше всех, глупо.

— Сказала «ключ», — ответила она. — И про иглу что-то.

— Навь много болтает, — сказала Горислава. — Ей там скучно, на мосту. Пуговицу спрячь. И руку кому попало не показывай. Иди к огню.

Ждана пошла к огню и села рядом с Яриной. Её трясло. Прохор молча накинул ей на плечи свой тулуп, огромный, пахнувший псиной и дымом.

Из тумана вышел Радим, белый, с тетрадью, прижатой к груди. За ним остальные, по одному. Последним шёл тихий парень из лесного края, и Горислава, увидев его, перестала считать вслух.

Прохор всё смотрел на туман.

— Нежка где? — спросил он. — Она после тебя шла. Ждана. Нежка где?

Ждана не смогла ответить. Ответила Горислава:

— Нежка осталась.

Прохор кивнул, медленно, как кивают, когда не поняли.

Потом понял. Он отвернулся к морю и больше ничего не спросил, и до самого рассвета никто у костра не сказал ни слова, даже Радим.

Только раз Ждана не выдержала и спросила Гориславу шёпотом, как Нежка могла оказаться впереди, если шла позади.

— На мосту туман путает, кто впереди, а кто сзади, — сказала Горислава, не оборачиваясь. — Она шла за тобой. А тебе её показали. Навь любит показывать.

* * *

Лодка пришла, когда небо над морем стало серым.

Это была большая ладья, тёмная, смолёная, с одной мачтой и свёрнутым парусом, с вёслами по бортам. Она вышла из рассветной мути почти без звука и ткнулась носом в песок. На корме стояла женщина с рулевым веслом.

Ждана видела её плохо, против света. Невысокая, плотная, в мужской шапке, надвинутой на глаза. Лицо обветренное, тёмное. В волосах, выбившихся из-под шапки, светлела седая прядь. На ней был старый суконный кафтан, синий когда-то, а теперь почти серый, длинный, с разрезами для верховой езды, мужской или очень старинный. По его груди, сверху вниз, шёл ряд медных пуговиц, и рассветный свет лёг на них тусклыми пятнами.

Пуговица под Жданиным воротом стала горячей.

— Лодочница, — сказала Горислава. — Оляха. Она вас переправит. Садитесь.

Одиннадцать жатвенных пошли к ладье. Ждана шла последней и смотрела на кафтан, на пуговицы, и не могла понять, что её в нём держит. Лодочница стояла неподвижно и не смотрела ни на кого. Когда Ждана подошла к борту, женщина отвернулась к морю.

Глава 3. Буян

Ладья шла под парусом, а когда ветер падал, на вёсла садились жатвенные. Так решила Горислава: сказала, что на Буяне сидеть без дела не дают никому и лучше привыкать сразу. Гребли по двое на весло. Прохор грёб один, за двоих, глядя перед собой пустыми глазами, и весло у него гнулось.

Двенадцать километров от Перевоза до Буяна в ясный день проходили за три часа. День был не ясный. С моря тянуло сыростью, облака лежали низко, и берег за кормой скоро пропал, а впереди ничего не появлялось. Ладья шла через серое в серое. Ярину укачало на первом же километре. Она сидела, вцепившись в борт, бледная до зелени, и шевелила губами.

— Что ты считаешь? — спросила Ждана.

— Волны. — Ярина сглотнула. — Каждая седьмая больше. Если знаешь, когда будет большая, не так страшно.

— Ты воды боишься?

— Глубокой. — Ярина помолчала и добавила ровно, как говорят давно выученное: — У меня брат утонул. Тур. Мне восемь было. Я на берегу стояла.

Ждана не знала, что на это сказать, и ничего не сказала. Она пересела к корме, подальше от брызг, и оказалась в двух шагах от лодочницы.

Ольха правила стоя, всем телом налегая на рулевое весло.

Вблизи она оказалась моложе, чем на косе: лет сорок, может быть, меньше. Лицо обветренное до черноты, и через верхнюю губу, от носа к углу рта, шёл старый белый шрам, отчего казалось, что она всё время чуть усмехается. Глаза под шапкой были светлые, серо-зелёные, неподвижные. Она смотрела только вперёд, на воду.

Кафтан на ней был такой старый, что сукно на локтях протёрлось до нитки. Ждана считала пуговицы, сама не зная зачем, по Ярининой привычке. Пять медных, тусклых, одна под другой. Шестой не было. На её месте, ближе к поясу, торчал обрывок нитки, и сукно вокруг было темнее, не выгоревшее: пуговицу оторвали давно, когда кафтан был ещё синим.

Ольха напевала. Это Ждана заметила не сразу, потому что напев шёл без слов и без голоса, где-то в груди, и сливался со скрипом уключин и плеском. Низкий, медленный, с долгими остановками. Ждана прислушалась и почувствовала, как у неё сжимается что-то под рёбрами.

Напев был похож на её собственный. Похож так, как бывают похожи сёстры: те же ходы, те же повороты, где голос уходит вниз и долго там держится. Только паузы были в других местах. Там, где Ждана привыкла переводить дух, лодочница тянула. А там, где Ждана тянула, лодочница молчала, и молчание это было длинное, разное, то на два вздоха, то на пять.

Ждана хотела спросить, что это за песня. Ольха, словно

почуяв, замолчала и больше не напевала до самого Буяна.

* * *

На носу Радим пытался всех развеселить.

Получалось плохо. Прохор не слушал, Лада смотрела в море, Ивашка сказал ему заткнуться, и Радим ненадолго заткнулся, а потом заговорил снова, тише, обращаясь уже к одному Ивашке, который сидел с ним на весле и деваться ему было некуда.

— Ты не злишь, — говорил Радим. — Я не со зла. Я как песня, мне если молчать, я лопну. Хочешь, спою? У меня двести сорок одна. Есть весёлые. Есть про попадью, но её при девках нельзя.

— Не хочу.

— А колыбельную? Знаешь, у нас на Поречье есть одна. Странная. Её никто не понимает. Бабка моя всю жизнь собирала песни, а эту, говорит, не могу разобрать, слова ломанные, будто их по дороге растрясли. Её к нам плотогоны принесли, лет десять тому, с верховьев. Вот слушай.

Он запел. Голос у него был хороший, светлый, чуть надтреснутый, как у мальчишки, у которого только ломается голос:

Баю-баю, тёмна вода,
Не проснётся в ней беда...

Ждана сидела на корме, спиной к нему. Она не обернулась. Только руки у неё сами сжались на коленях.

— Дальше не помню, — сказал Радим. — Там про мост что-то, середина у меня пропала. А потом вот:

Камнем, с инеем своим...

Он запнулся, пропустил, запел снова:

Чур-чура, не ты, а мы.

— А дальше конца нет. Бабка говорит, у всех по-разному кончается. Кто как придумает. Красиво же? Вот слышишь, как ложится: не ты, а мы. Будто колыбель качают...

Рулевое весло дёрнулось. Ладья вильнула, взяла носом волну, и всех окатило холодными брызгами. Ярина вскрикнула. Горислава на носу обернулась и посмотрела на корму. Ольга уже снова правила ровно, глядя вперёд, и лицо у неё было такое же неподвижное.

Ждана встала, перебралась через скамьи на нос и села рядом с Радимом.

— Откуда ты её знаешь? — спросила она.

Радим обрадовался ей, как обрадовался в первый вечер.

— Говорю же, плотгоны. С верховьев, с вашей стороны. — Он прищурился. — А ты знаешь? Ты так спросила, будто знаешь.

— У нас по-другому поют.

— Как?

— По-другому, — повторила Ждана.

— Ну спой.

— Нет.

— Ну хоть строчку. Ну одну. Я запишу. Для бабки. Она с ума сойдёт, она её тридцать лет собирает...

— Ты сказал, десять.

— Ну десять. — Радим не смутился. — Она всё равно с ума сойдёт. Там у тебя «с инеем» или как?

Ждана посмотрела на него. Он был весь светлый: волосы, ресницы, веснушки, глаза. Глаза были внимательные и совсем не весёлые, хотя всё остальное лицо улыбалось.

У неё в Глуховке пели не «с инеем». Она это знала так же точно, как знала, что вода мокрая, и слово, которое пели у неё, само легло на язык. Она его не сказала.

— Не помню, — сказала она.

Радим вздохнул и открыл тетрадь. Ждана видела, как он пишет на чистой странице, мелко и криво от качки: «Заре-чье. Есть вариант. Поёт иначе. Не говорит». И подчеркнул дважды.

* * *

Буян появился сразу, весь, как вынутый из тумана.

Он был тёмный, каменный, длинный. С моря поднима-

лись скалы, серые, в белых потёках птичьего помёта, а над скалами шёл зелёный склон, и на склоне, на самом верху, стояли стены. Каменные, старые, с башнями по углам. За стенами виднелись крыши, крытые дёрном, и дым. Справа, отдельно от всего, на скале, которую отделяла от острова узкая полоса воды, стояла ещё одна башня, высокая, круглая, совершенно чёрная, без единого окна, которое было бы видно с моря. Туда с острова вёл каменный перешеек, насыпанный руками.

— Буян, — сказала Горислава. — Остров длиной около девяти километров, шириной до трёх. Застава наверху. Внизу пристань. Слева от пристани Коса. Туда без дела не ходить.

Ждана посмотрела налево. Там от берега в море уходила длинная узкая отмель, серая, песчаная, голая, без единой травинки. Вдоль неё были вбиты в песок шесты. Много шестов, десятки, через равные промежутки, и на некоторых висели выцветшие тряпки.

— А там что? — спросила Ярина, указав на чёрную башню. Её всё ещё мутило, но любопытство оказалось сильнее.

Горислава помолчала.

— Там живёт тот, с кем у нас Ряд, — сказала она. — С равноденствия до Карачуна. Туда не ходить никогда.

На пристани их ждали. Человек двадцать в одинаковых серых свитках с вышивкой на рукаве: красной, белой или чёрной. Старшие ученики. Они смотрели на жатвенных так, как смотрят на новых телят в стаде, с любопытством и лёгкой жалостью. Один из них, высокий парень с чёрной вышивкой и рябым лицом, подошёл к Гориславе и поклонился.

— Всемир, — сказала Горислава жатвенным, не оборачиваясь. — Мой старший, третий год. Он вас проводит.

Ждана думала, что их поведут наверх сразу. Но сначала они стояли на пристани и ждали, пока Ольга отведёт ладью к причалу, привяжет, сложит парус. Ольга делала всё одна, ни на кого не глядя, и никто ей не помогал. Сделав всё, она ушла по берегу налево, к Косе, к низкому сараю у самой воды, и закрыла за собой дверь.

Наверх вела лестница, высеченная в скале. Ярина считала ступени. Их оказалось триста восемьдесят. На двухсотой у Жданы заболели ноги, на трёхсотой она перестала чувствовать что-либо, кроме ног, а на последней чуть не упала Прохору в спину.

Застава была большая, больше Глуховки. Двор, мощный плоским камнем, колодец, длинное здание трапезной с высокими узкими окнами, кузня, конюшня, три башни по углам стены, и в каждой, как объяснил Всемир, жил свой дом:

Мороновы в северной, Сварожичи в южной, Берегини в восточной. Четвёртый угол был пустой, там стену подпирала старая кривая сосна.

Посреди двора их встретил воевода Будимир. Он был очень старый, лысый, с длинной белой бородой, заткнутой за пояс, и опирался на палку. Говорил он долго, про Ряд, про честь, про то, что граница держится на таких, как они. Ждана не слушала. Над стеной торчала чёрная башня, и Ждана не могла отвести от неё глаз. С этой стороны в ней было окно, одно, высоко, под самой крышей.

Наставники выбирали после.

Это было быстро. Ратибор, Горислава и маленькая сгорбленная старуха в белом платке, наставница Берегинь, Ведана, по очереди называли край, и жатвенный выходил к ним. Ратибор взял Прохора, Ярину и ещё троих. Ведана взяла Ладугу, Радима, тихого парня из лесного края и смуглую девушку из Поморья. Горислава назвала Ивашку и перевела взгляд на Ждану.

— Заречье, — сказала она. — Ко мне.

Ждана вышла. Горислава положила ей руку на плечо, легко, как кладут на перила, и сразу убрала.

* * *

Жили жатвенные отдельно от домов, в длинном низком строении у восточной стены, разделённом на комнаты по

двое. Ждана досталась комната с Яриной. Две лавки, стол, сундук, окно на море, узкое, как бойница. Печи не было, только каменная труба, проходившая через стену из кухни, тёплая на ощупь.

Ярина обошла комнату, считая шаги.

— Пять на три, — сказала она. — Как у нас в юрте у младшего брата. Ничего. Жить можно.

Она легла на лавку прямо в сапогах и тут же заснула, но спать ей дали недолго. Перед ужином Всемир собрал жатвенных во дворе и повёл по Заставе. Показывал быстро, на ходу, как показывают хозяйство новому работнику. Вот колодец, из него пить, из бочки у кузни не пить, там Ратибор закаливает. Вот кузня. Вот конюшня, в ней четыре кобылы и мерин, мерин кусается. Вот книжная, под трапезной, туда без Веданы не ходить. Вот восточная башня, Берегини, там пахнет мятой и кровью, потому что там лечат. Вот южная, Сварожичи, там пахнет гарью. Вот северная, наша.

— А там? — спросил Радим и показал на четвёртый угол, где кривая сосна подпирала стену.

— Там была башня хранительниц, — сказал Всемир. — Давно. Когда Застава с мостом вместе держала. Башня упала лет сто назад, а хранительниц на Буяне больше не было. Сосна выросла.

Сосна была старая, кривая, с корнями, вросшими в камень стены. Ждана не знала, почему ей захотелось подойти и потрогать кору.

Последним, уже в сумерках, Всемир показал жальник. Он не стал заводить их за берёзы, только остановился на краю склона и махнул рукой.

— Тут наших хоронят, — сказал он. — И тех, кого с Косы провожаем, если родни нет. Камни сами режем. Привыкайте.

Никто ничего не сказал. Прохор стоял над камнями дольше всех и спросил, есть ли тут камень для тех, кто остался на мосту. Всемир ответил, что для них нет, потому что их не выносит. Прохор кивнул и больше в тот вечер не говорил.

За ужином в трапезной она узнала про чёрную башню больше, чем от Гориславы. Ученики говорили про неё неохотно, но говорили. Что в ней живёт Кощей. Что он приезжает на равноденствие и уезжает в ночь Карачуна, а где он бывает остальное время, никто не знает, наверное, в Нави. Что раньше, при прежнем Кошее, такого не было, и Кощей на Буяне не видел никто и никогда, а этот приезжает третью осень подряд. Говорят, так воевода с ним договорился, по новому Ряду. Говорят, он молодой. Говорят, на него нельзя смотреть, а то он посмотрит в ответ, и тогда уже не спать тебе никогда, как он сам не спит.

— Брехня, — сказал Всемир, услышав. — Смотреть можно. Только не надо.

Ждана легла поздно. Ярина спала, отвернувшись к стене, и дышала ровно. Ждана лежала и смотрела в потолок, и перед глазами у неё было белое, туман, Нежкино счастливое лицо и маленькая нога, ступающая с доски в пустоту.

Она встала, накинула платок и вышла.

* * *

Двор ночью был пустой и голубой от луны. Луна висела над чёрной башней, почти полная. Ждана постояла у колодца, потом толкнула дверь трапезной. Дверь была не заперта.

Внутри было темно и холодно. Длинные столы стояли пустые, лавки задвинуты под них, на полу лежали квадраты лунного света из высоких окон. Пахло кашей, остывшим камнем и воском. Ждана села на край лавки у дальней стены, обхватила колени.

Ей хотелось плакать, и плакать она не умела. Тогда она сделала то, что делала всегда, с самого детства, когда было страшно или пусто: запела. Тихо, почти шёпотом, для себя одной, ту самую, Добравину, мамину, речную. Слова шли сами. Она пела и смотрела на лунные квадраты на полу, и в груди становилось немного легче, как будто песня забирала с собой часть того, что там лежало.

После третьей строки ей показалось, что в дверях кто-то стоит.

* * *

Мстислав не спал третий год.

Это не было похоже на бессонницу, какая бывает у живых. Он не ворочался, не считал до тысячи, не вставал пить воду. Он просто не засыпал. Когда темнело, он ложился, закрывал глаза, лежал час, другой, и ничего не происходило: мысли не путались, тело не тяжелело, не наплывали ни картинки, ни голоса. Потом он вставал и шёл ходить. За три года он выучил Буян так, как не выучил бы за всю жизнь, ночь за ночью: каждую ступеньку, каждую выбоину в стене, каждую доску в полу трапезной, которая скрипит.

Под грудиной у него жило имя. Он называл его про себя так, другого слова не было. Оно было холодное и тяжёлое, как камень, проглоченный и застрявший, и оно билось, второе сердце, медленнее его собственного, раз на три его удара. Оно не давало ему спать, не давало мёрзнуть, не давало умереть. Иногда ему казалось, что оно спит само, внутри него, и видит сны вместо него.

Сон он видел только один, и не свой. Он приходил не ночью, а днём, на ходу, когда Мстислав смотрел на воду или на огонь. Маленький дом. Печь, в ней догорают три полена. Женщина сидит у лавки, на которой спит ребёнок, наклоняется и поёт ему. Две строки. Только две, и замолкает. Лица женщины он никогда не видел, только руки, только наклон головы. Напев он помнил так, будто слышал его каждую ночь всю жизнь.

В эту ночь он стоял на стене у северной башни и смотрел на воду, а потом слышал его.

Сначала он решил, что это опять сон, только ночью. Нет. Голос шёл снизу, со двора, из трапезной, сквозь камень. Он был девичий, низкий, тихий. Напев был тот самый.

Имя под грудиной повернулось. Медленно и тяжело, как поворачивается во сне человек, которого окликнули. Мстислав взялся рукой за стену. Его накрыло тоской, такой, какой он не помнил за собой никогда, даже в ту ночь три года назад, когда очнулся на мосту с чужим холодом внутри. Тоска была не его. Она шла изнутри, из того камня под грудиной, и тянула вниз, во двор, к голосу.

Он пошёл.

Дверь трапезной была приоткрыта. Он встал в ней, в тени, там, где лунный свет не доставал. В дальнем конце зала, на краю лавки, сидела девушка. Сидела, обхватив колени, и пела, глядя в пол. Платок у неё сполз на плечи, коса лежала на спине, и в косе была красная лента, единственное яркое пятно во всём сером зале.

Она пела третью строку. Ту, которой не было в его сне. Женщина во сне пела только две. Эта пела дальше, и слова были ему незнакомы, и при этом каждое ложилось внутри него на своё место, как ложится ключ в замок, который ты никогда не видел, но всегда носил на себе.

Веки у него вдруг стали тяжёлые.

Он не сразу понял, что это. Он забыл, как это бывает. Тело налилось теплом, колени ослабли, голова сама начала клониться к косяку. Он закрыл глаза на мгновение, и в это мгно-

вание его не было нигде, ни на Буяне, ни в Нави, нигде: тёмная тёплая вода, и голос над ней.

Он открыл глаза рывком и отшатнулся. Под ногой скрипнула та самая доска у порога, которую он знал три года и всегда обходил.

Девушка замолчала и подняла голову.

— Кто здесь? — спросила она.

Мстислав не ответил. Он отступил в темноту двора, бесшумно, как умел теперь, и ушёл к перешейку, к своей башне, не оглядываясь.

До рассвета он сидел на полу, спиной к холодной стене, лицом к окну. Имя под грудиной билось ровно, раз на три удара. Ему было плохо так, как не было никогда, и хорошо так, как не было никогда, и он не мог отделить одно от другого.

И он не был уверен, что там, в дверях трапезной, не спал.

Глава 4. Провожатые

Северная башня пахла можжевельником так густо, что першило в горле. Сухие пучки висели под потолком, лежали на подоконниках, торчали из глиняных кувшинов на полу. В середине круглой комнаты стояла каменная чаша, широкая, по колено высотой, полная серой золы. Вдоль стен шли лавки. На них сидели Мороновы, все, кто был: восемь старших учеников в серых свитках с чёрной вышивкой и двое жатвенных, Ждана и Ивашка.

Горислава стояла у чаши.

— Провожать, — сказала она, — значит отпускать. Это первое, что вы должны понять. Мы не воюем с Навью, этим занимаются Сварожичи. Мы не лечим, это Берегини. Мы делаем то, что никто больше делать не хочет. Мы забираем мёртвых, которых Навь выплюнула обратно, и отправляем их туда, где им положено быть.

Она взяла из чаши горсть золы и разжала пальцы. Зола потекла на пол тонкой струйкой.

— Мёртвые выходят у Косы. Это место такое, тонкое. Кто умер в Нави, кого туда утащили, кто утонул там, где Навь подходит к воде, всех выносит сюда. Не сразу, через день, через неделю. Колокол на Косе звонит сам, когда вода кого-то отдаёт. Тогда идём мы.

— А зачем их провожать? — спросил Ивашка. — Мёрт-

вый он и есть мёртвый.

Старшие засмеялись. Горислава не засмеялась.

— Мёртвый, которого не назвали, не уходит, — сказала она. — Он ходит. Сначала по Косе, потом по острову, потом по воде к берегу, туда, где его знали. И приходит. Хочешь, чтобы к твоей матери пришёл мёртвый сосед и встал под окном?

Ивашка замолчал.

— Поэтому, — сказала Горислава, — первое: имя. Мёртвого надо назвать. Если вы его знаете, хорошо. Если нет, ищите. Имя прячется в том, что человек держал. В руках, в одежде, в работе. Охотник держит имя в луке. Мать держит в ребёнке. Иногда приходится долго искать. Второе: глаза. Закрывать, и закрыть своей рукой, а не чужой. Третье: можжевельник. Четвёртое: слова. Их я вам дам позже, когда научитесь не путать первые три.

Ждана слушала, и ей было странно. В Глуховке покойников обмывали бабки, и Добрава тоже, и никто никого никуда не провожал: клали в домовину, несли на погост, кидали горсть земли. Мёртвые не ходили. Или ходили, а она не знала.

— Есть ещё одно, — сказала Горислава и стряхнула золу с ладоней. — Редкое. Надеюсь, никто из вас этого не увидит. Иногда в Нави человека убивают не ножом. Из него вынимают слово.

В комнате стало тихо.

— Слово бывает разное. Имя. Клятва. Тайна. Песня, заговор, молитва. Всё, что человек носит в себе и не отдаёт. Есть умельцы, которые умеют такое вынуть силой. Человек после этого не живёт. Слово держит его, как гвоздь держит доску, и если гвоздь выдернуть, доска падает.

Она обвела их глазами.

— Запомните. Слово, вынутое силой, всегда оставляет след. Там, где человек его держал. Кто держал в руках, у того на руках. Кто в голосе, у того на губах. Кто в работе, у того на том, чем он работал. По следу можно прочесть, что вынули. Иногда только по следу и можно узнать, за что человека убили.

— А кто вынимает? — спросил Ивашка. Он, кажется, не умел молчать.

— Тот, кто умеет, — сказала Горислава. — Нас этому не учат.

— А обратно можно? — не унимался Ивашка. — Вложить?

Горислава помолчала. Ждане показалось, что пауза вышла длиннее, чем нужно.

— Слово обратно не вложишь, — сказала она. — А смерть переложить можно. Из одного человека в другого. Иглой, шов за шов, как зашивают рану. Только смерть никуда не девается, она уходит в того, кто шьёт. Это запрещено. Из живых Мороновых этого не делал никто. На сегодня всё. Все-мил, раздай им можжевельник, пусть учатся вязать пучки.

Пучок на провожание должен быть сантиметров двадцать в объёме. Меньше будет дымить, больше будет гореть.

* * *

Мстислава Ждана увидела в тот же день, после обеда.

Она шла с Яриной от колодца, с вёдрами, и Ярина рассказывала про Дикое поле: про то, что там можно скакать три дня и не увидеть ни одного дерева, что её отец объезжает коней для степных князей и что лучший конь в её жизни был вороной, звали Уголь, и его забрали за долги. Рассказывала, как всегда, цифрами: сколько километров от зимовья до летовки, сколько голов в табуне, сколько лет было Углю. И осеклась на полуслове.

Двор опустел. Не сразу, но быстро, как пустеет улица перед стадом: кто-то отошёл к стене, кто-то нырнул в дверь кухни, двое старших с красной вышивкой встали у колодца и отвернулись. От северных ворот, от перешейка, через двор шёл человек.

Он был молодой. Это первое, что поразило Ждану: она ждала старика, иссохшего, как в сказках, а это был парень лет двадцати, высокий, худой, в чёрном, без кафтана, в одной рубашке, хотя ветер с моря был холодный. Волосы чёрные, отросшие, падали на лоб. Лицо без кровинки, белое, как известь. Он шёл ровно, не глядя под ноги, и солнце, низкое, осеннее, било ему прямо в глаза, а он не щурился.

Глаза у него были светлые. Почти без цвета, серые, как вода в ведре.

— Это он, — сказала Ярина тихо. — Не смотри.

Ждана смотрела. В пяти шагах от них он повернул голову и посмотрел на неё. Не в лицо, а выше, на лоб, на брови: платок у неё опять сполз, она забыла его поправить, держа ведро. Один шаг, не больше. По его лицу прошло что-то быстрое, как тень от птицы по земле, и он отвернулся и пошёл дальше, к северной башне, и вошёл в неё, к Мороновым.

— Ты посмотрела, — сказала Ярина с ужасом. — Ты зачем посмотрела? Теперь спать не будешь.

— Я и так не сплю.

— Это другое.

Ждана поставила ведро и поправила платок. Руки у неё были холодные.

— Что он делает у Мороновых?

— Почём я знаю. — Ярина подхватила своё ведро. — Он им, наверное, начальник. Он же мёртвыми командует. Пошли, а то каша остынет. Шестьсот сорок шагов от колодца до нашей двери, если через двор. Если вокруг, восемьсот. Я теперь всегда буду вокруг ходить.

* * *

Неделя прошла в работе. Мороновы вязали пучки, учили слова для провожания, по которым надо было не путать ни

одного звука, и ходили на Косу днём, смотреть, как там всё устроено. Коса оказалась длиной в полкилометра. Шестов на ней было шестьдесят три, Ждана посчитала. На каждый, если выносило мёртвого, вешали лоскут, а потом снимали, когда провожали. Ветер там дул всегда, с моря, ровный и сильный, и пахло там не морем, а сырой землёй, как в погребё.

У самого основания Косы стоял сарай. Тот, в который ушла лодчица. Рядом лежала её ладья, перевёрнутая, на катках. Дверь сарая всегда была закрыта, но из трубы иногда шёл дым.

— Оляха, — сказал Всемир, когда Ждана спросила. — Она тут всегда. Сколько я тут учусь, столько она и есть. Возит Жатву, рыбачит, тела из воды вынимает, когда их не к Косе, а в сторону уносит. Говорить не любит. Её не трогают.

— Откуда она?

— Кто знает. — Всемир пожал плечами. — С материка. Говорят, пришла лет шестнадцать назад, попросилась у воеводы на перевоз, и он взял. Перевозчик тогда как раз утонул.

По утрам всех жатвенных, к какому бы дому их ни приписали, гонял Ратибор. Так было заведено: кто не умеет бегать и держать огонь, тот на Косе не нужен никому, ни Мороновым, ни Берегиням. Подъём до света, вниз по лестнице и наверх бегом, триста восемьдесят ступенек, потом во двор, к кострам.

Ярина на лестнице всегда приходила первой. Ждана последней, кроме Радима, который на двухсотой ступеньке ло-

жился на камень и говорил, что умрёт тут, и пусть его проведут.

У костров Ратибор учил держать огонь. Не факел, а огонь: просмолённую паклю на конце копья, можжевельный пучок, головню из костра. Как махать, чтобы не погасло. Как ткнуть, чтобы навье разлетелось, и не поджечь соседа. Ярина взяла копье, как берут ложку, не думая. Ратибор посмотрел, как она бьёт соломенное чучело, и сказал «добро», и больше ничего не говорил ей всю неделю, и Ярина ходила гордая, как награждённая.

У Жданы копье вываливалось из рук. Пакля гасла. Один раз она подожгла себе рукав, и Ратибор сам сбил огонь своей огромной обожжённой ладонью, не поморщившись.

— Не твоё, — сказал он.

— А что моё?

Ратибор глянул на неё сверху, на лоб, на брови, и отвёл глаза. Ждана давно заметила, что он всегда так.

— Ты на Мглистом мосту пела, — сказал он. — Мне Горислава говорила. Голос навье держит. Это редко. Это не моя наука. — Он отошёл к костру и бросил через плечо: — Но бегать всё равно будешь. Голосом от зверя не убежишь.

Один раз, на четвёртое утро, Ждана подняла голову от костра и увидела на стене, у северной башни, тёмную фигуру. Чёрный против серого неба, неподвижный. Следил за двором, за жатвенными, за огнём. Ратибор тоже увидел. Ничего не сказал, только плюнул в костёр и велел начинать сначала.

Радим ловил Ждану всю неделю. За ужином, у колодца, на лестнице. Он не спрашивал больше про песню прямо, он рассказывал. Про бабу, про Поречье, про то, что Берегини учат слову, что слово лечит и убивает, что Ведана заставила его в первый же день выучить заговор от кровотечения и он вышел с первого раза, а у всех остальных со второго. Про то, что он хочет записать все песни Буяна, а их тут, оказывается, мало, потому что тут не поют.

— Не поют, понимаешь? — говорил он. — Двадцать восемь человек учеников, три наставника, воевода, повар, конюх, и никто не поёт. Я спросил Ведану почему. А она говорит: «На Буяне песня слишком далеко слышна».

— Это как?

— Не знаю. — Радим смотрел на неё. — Я думал, ты знаешь.

Ждана не знала. По ночам она больше не ходила в трапезную. Ей казалось, что тогда, в дверях, кто-то стоял, и от этого становилось одновременно страшно и как-то пусто: она сама что-то оставила в той трапезной и не может за этим вернуться.

* * *

Туман пришёл на восьмую ночь.

Ждана проснулась от того, что стало трудно дышать. Воздух в комнате был мокрый и густой. В окне, узком, как бой-

ница, вместо звёзд стояла белая стена. Ярина спала. Ждана лежала и слушала. Ничего. Ни моря, ни ветра. Только туман шуршал о камень, тонко, почти неслышно.

С Косы ударил колокол.

Звон был глухой, надтреснутый, будто кто-то бил в котёл. Он ударил раз и замолчал, и через мгновение ударил снова. Ярина вскинулась на лавке.

— Что?

— Это нас, — сказала Ждана. Она уже натягивала сапоги.

— Мороновых. Спи.

У северной башни горели фонари. Мороновы выходили по одному, сонные, злые, в наброшенных на плечи кожных. Всеми стоял у ворот с охапкой пучков.

— Наставница на Перевозе, — сказал он. — Уехала по делам Заставы, вернётся завтра к ночи. Ведём сами. Жатвенные идут смотреть. Ничего не трогать, пока не скажу.

Они спустились к Косе. Лестница в тумане была бесконечная, мокрая, Ждана держалась рукой за камень и считала ступени, сбилась, начала снова. Внизу туман был ещё гуще. Фонари светили в нём, как свечи в молоке. Ветра не было впервые за неделю, и от этого было жутко: Коса без ветра казалась чужой.

На песке у кромки воды, у самого основания Косы, стояла Оляха. Мокрая по пояс, в своём старом кафтане, с багром в руке. У её ног лежало что-то тёмное, вытянутое. Рядом, вытасенная на песок, качалась на мелкой воде лодка.

— Не к Косе вынесло, — сказала Ольха. Голос у неё оказался низкий, хриплый, как у человека, который говорит раз в неделю. — К сараю. Я вытащила.

Она отступила. Всемил поднёс фонарь.

На песке лежала старуха. Маленькая, сухая, в тёмной юбке и в фартуке, с которого текла вода. Платок съехал, седые волосы облепили лицо. Руки лежали вдоль тела, серые до локтей. Не от воды и не от смерти. От золы, которую нельзя отмыть.

Ждана сделала шаг вперёд и упала на колени.

— Не трогать! — сказал Всемил.

Она не тронула. Она стояла на коленях на мокром песке и смотрела на Добраву, на её лицо, на рот, приоткрытый, как будто она хотела сказать «дурёха» и не успела. Глаза у Добравы были открыты и смотрели вверх, в туман.

— Ждана, — сказал Всемил. — Ты её знаешь?

— Это моя няня.

Голос был не её. Чужой, ровный, как у Гориславы.

Всемил присел рядом. Он был хороший парень, Всемил, рябой и некрасивый, и он не стал говорить ничего лишнего. Он просто поднёс фонарь ближе, к груди старухи, туда, куда смотрела Ольха.

На фартуке, мокром насквозь, лежал пепел.

Он не размок и не смылся. Он лежал сухой, светло-серый, тонкими линиями, ровно, будто его не насыпали, а написали. Ветра не было, но если бы и был, Ждана знала, что этот

пепел не сдуло бы ничем. Линии складывались в буквы. Старые, угловатые, но читаемые. Добрава научила её грамоте по старому травнику без обложки, по таким же буквам.

Карна плачет, Желя жжёт.

— Это что? — спросил Всемир. — Заговор?

Ждана не ответила. Она смотрела на строку и слышала её внутри, тем самым голосом из реки, тем самым напевом, с той самой паузой после «плачет», в которой маленькая Ждана всегда переводила дух. Пятая строка. Она пела её тысячу раз. На сеновале с Улитой и Златой. На речке. Над Добравинной квашнёй, когда та месила тесто, а маленькая Ждана сидела на печи и болтала ногами, и Добрава подпевала, путая слова, и ругалась, что песня навья, нехорошая, и пела снова.

Добрава держала эту песню у печи. В работе.

«Кто держал в работе, у того на том, чем он работал».

Ждана подняла глаза. Оляха стояла в двух шагах и смотрела на строку из пепла. Не на лицо мёртвой, не на Ждану. На строку. Лицо у неё было неподвижное, как всегда, но рука, которой она держала багор, побелела на костяшках.

Лодочница повернулась и ушла в туман, к своему сараю. Хлопнула дверь.

— Надо провожать, — сказал Всемир. — Имя ты знаешь. Сможешь?

— Смогу.

Ждана протянула руку и закрыла Добраве глаза. Своей рукой, как учили. Веки были холодные и мягкие и не хотели закрываться, и она держала ладонь на них, пока они не остались закрытыми.

— Добрава, — сказала она. — Тебя Добравой звали. Ты печь держала. Ты меня вырастила.

Всемир зажёл пучок. Можжевельный дым пошёл вверх, в туман, густой и горький.

Ждана говорила слова, которые учила всю неделю, не путая ни одного звука, и думала только одно. Добраву не утопили и не зарезали. Её убили в Нави. Из неё что-то вынули силой, и на том, чем она работала, остался след.

Из Добравы вынули песню. Жданину песню.

Глава 5. Пепел

Мёртвых на Буяне хоронили на западном склоне, на жалынике, за старым березняком. Там не было ни голбцов, ни столбов, только низкие холмики в жёсткой траве и на каждом плоский камень с вырезанным именем. Камней было много. Некоторые так заросли лишайником, что имён не прочесть.

Добраву закопали к полудню. Копали двое старших Мороновых, Ждана носила землю в подоле, потому что лопаты третьей не нашлось, а сидеть без дела она не могла. Потом Всемил принёс камень, и она сама вырезала на нём имя Остаповым ножом, криво, глубоко, до крови на пальцах. Всемил хотел помочь. Она не дала.

Когда все ушли, она осталась. Села рядом с холмиком на траву. Мыслей не было никаких. Внизу шумело море. Ветер нёс с Косы запах сырой земли, и теперь Ждана знала, откуда этот запах: так пахнет Навь, когда отдаёт своё.

Добраве было шестьдесят четыре года. Она никогда не выезжала из Глуховки дальше Олышанки, а теперь лежала на острове посреди моря, за сто пятьдесят километров от своей печи, и никто в Глуховке ещё не знал, где она.

Ждана думала про пепел. Про то, что кто-то пришёл в Глуховку, к Добраве, в её избу или к её печи, и увёл её туда, где можно вынимать из людей слова. Добрава, наверное, ругалась. Добрава всегда ругалась, когда боялась. «Дурёха»,

говорила, наверное, или «пошёл вон, ирод». А потом из неё вынули пятую строку, и Добрава упала, как доска, из которой выдернули гвоздь.

Зачем кому-то пятая строка детской песни?

Она не знала. Она знала только, что песню эту слышали многие. Вся Глуховка, считай. Улита, Злата, Остап, Фёкла, Лукины, соседские дети, кошки, коровы. И что та, у кого её вынули первой, была Добрава.

* * *

Горислава вернулась ночью, как и обещал Всемир, а утром позвала Ждану к себе.

Комната у неё была наверху северной башни, маленькая, полукруглая, с одним окном на море. Узкая лавка, застеленная серым, стол, полки с книгами в кожаных переплётках, и везде, как внизу, можжевельник: в кувшине на столе, в пучках над дверью, в маленькой чаше на подоконнике, где он тлел, не сгорая. Пахло так сильно, что у Жданы заслезились глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.